

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

НЕКРОМАНТ СЕВЕРНОЙ СТЕНЫ



ЗИККУРАТ

18+

Сергей Панченков

**Некромант северной
стены. Зиккурат**

«Автор»

2026

Панченков С. А.

Некромант северной стены. Зиккурат / С. А. Панченков —
«Автор», 2026

Чёрная инквизиция перестаёт быть только орденом у чаши ставит зиккураты и превращает кровь, веру и мёртвые тела в систему снабжения крепости. Южная империя отвечает числом — и сталкивается с вампирами, костью и волей, против которых нет равного строя. ставит камень в тылу, пока ведут войну. Отец открывает явку за бессмертием и бесплатную магическую академию. Том о страхе, который становится порядком, и о людях, чьи судьбы ломает война ещё до падения столицы.

© Панченков С. А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Тихий дом	5
Глава 2. Старый жрец	7
Глава 3. Новое имя	9
Глава 4. Память хищника	11
Глава 5. Выбор Отца	12
Глава 6. Первый дар	13
Глава 7. Приказ с севера	14
Глава 8. Кровь в жилах	15
Глава 9. Место силы	16
Глава 10. Публичное очищение	17
Глава 11. Урок для живых	18
Глава 12. Закладка камня	19
Глава 13. Камень и плоть	20
Глава 14. Столбы с чашами	21
Глава 15. Желоба	22
Глава 16. Первые молитвы	23
Глава 17. Малая жатва	24
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Сергей Панченков

Некромант северной стены. Зиккурат

Глава 1. Тихий дом

Дом Чёрной инквизиции стоял на окраине поселения у первого холма и не походил на храм.

Снаружи — низкие стены, тёмный забор, двор без лишних окон на улицу. Внутри — запах металла, мокрого камня и крови, которую здесь уже не прятали за травами. Братья вставали до света. Смены у ворот менялись без колокола. Писцы писали имена при лампах, и чернила на пергаменте сохли быстрее, чем разговоры за забором.

Манус прошёл двор ещё до рассвета. Проверил стражу у калитки: двое живых, один обращённый, взгляд ровный. Проверил чашу у входа в допросную — уровень, чистоту обода, нет ли ночного отлива в чужую кружку. Проверил, чтобы младшие у плетня не болтали громче, чем требует дело. Орден был молод, но уже не терпел суеты. Страх в поселении держался не от крика, а от того, что крика не было: людей забирали тихо, возвращали иначе — или не возвращали вовсе.

За забором, у колодца, баба Нёла уже стояла с ведром и смотрела на тёмный гребень крыши тихого дома так, будто оттуда могли выйти в любой миг. Рядом молодуха шептала, что ночью снова скрипели ворота и кого-то увели из дальнего двора. Нёла цыкнула: не поминай вслух, а то запишут. Ведро дрожало у неё в пальцах не от тяжести воды — от мысли, что сын вчера спорил у амбара о разнарядке крови и мог попасть в уши не тому человеку.

В общей зале ордена ели стоя и сидя без различия чинов. Кровь в чашах на столе была не украшением. Её сдавали дворы по разнарядке, и братья пили меру без лицемерия. Кто морщился слишком заметно, получал работу тяжелее. Кто пил ровно, оставался в строю и в списках на дальние смены. Младший рекрут из соседней волости давился первым глотком и смотрел в пол. Ему не сказали слова утешения. Ему сказали допить.

Селивёрст подошёл с доской, не дожидаясь, пока Манус сядет.

— Сегодня трое на допрос. Один жрец старого культа. Двое из обоза. Обозники — мелочь. Жрец будет долгим.

— Жреца ко мне, — сказал Манус. — Обозников разберите сами. Ложь в зерне меня не интересует. Ложь в именах — интересует.

Селивёрст кивнул и ушёл. Манус задержал взгляд на младших у стены. Они ещё жили привычкой искать разрешение в глазах соседа. Он этого не любил. В ордене разрешение давал приказ, а не чужой взгляд.

За забором поселение просыпалось осторожно. Женщины шли к колодцу быстрее, чем прежде, и не задерживались у общего камня. Мужики не спорили у ворот о налоге вслух. Дети уже знали, до какой черты двора можно бегать. Мальчишка лет десяти, сын Нёлы, вчера получил по затылку за то, что слишком долго смотрел на ворота тихого дома. Сегодня он смотрел в землю.

Тихий дом делал своё дело без речей: приучал округу к тому, что кровь, имя и служба отныне имеют один счёт. Манус вошёл в допросную, велел принести чистую тряпку к столу и привести жреца. За стеной кто-то из младших тихо выдохнул — не молитву, просто воздух, будто готовился к долгому дню, в котором чужой страх станет его работой.

У колодца после смены говорили уже не о погоде. Говорили о том, кого записали, кого вернули, кого увели в борт. Женщина с седыми висками твердила, что лучше самой нести меру,

чем ждать ночи. Ей отвечали, что мера — только начало. Девочка лет восьми слушала и потом спросила мать, будут ли её тоже писать в книгу. Мать зажмурилась и не ответила.

Ночью в дальнем дворе мужчина копал яму за сараем — не для тела, для мешка с зерном: прятал запас от разнарядки. Жена шептала, что если найдут, заберут обоих. Он отвечал, что без зерна дети не доживут до камня. К утру яму заровнял, руки дрожали, а в голове уже стоял скрип чёрных колёс.

Старик на завалинке считал, сколько дворов опустело за месяц. Сбивался. Внук принёс ему похлёбку, и старик вдруг спросил: если я умру, меня тоже в повозку? Внук промолчал. Оба знали ответ и оба боялись произнести его вслух.

В очереди к писцу стояла молодуха с грудным. Ребёнок плакал. Она качала его и повторяла про себя чужую формулу, путая слова. Рядом мужчина сказал: не учись заранее, всё равно перепишут. Она ответила: хоть так, лишь бы не к колям с пустыми руками.

Утренний туман полз от реки к плетню, и в нём голоса казались глуше. Нёла выжала тряпку над ведром и вдруг поняла, что уже не помнит, каким был двор до тихого дома — без меры, без скрипа ворот, без привычки считать шаги до калитки. Сын спросил, почему она молчит. Она ответила: молчу, чтобы тебя не слышали. И сама не знала, правда ли это защита или уже трусость, сросшаяся с любовью.

У плетня двое мужиков говорили так тихо, что слова тонули в скрипе ведра.

— Говорят, ночью из дальнего двора увели Корнея. Жена утром нашла только кафтан на гвозде.

— Не «увели». Забрали. Разница в том, что забранного ещё можно увидеть у чаши. Уведённого — уже нет.

— А Корней-то что? Он же меру нёс.

— Нёс и языком молол у амбара. Теперь мелет там, где язык уже не его.

За углом сидела девка лет шестнадцати, которую вчера «отметили» и отпустили до утра. Глаза у неё были сухие, губы серые. Она смотрела на свои руки, будто те уже принадлежали чужому счёту. Соседка сунула ей краюху и шепнула: ешь, пока рот ещё твой. Девка откусила и заплакала без звука — не от боли, от того, что хлеб всё ещё пах домом.

В молеленке за поселением кто-то ночью выворотил плиты и высыпал кости дедов в канаву: искали «клад под святыней». Черепа валялись в грязи, как щепа. Старуха ползла на коленях и собирала их в передник, шепча имена, которые уже нельзя было произносить днём. Мародёры ушли с медными кольцами и ломаным крестом. Безначалие начиналось не с армии — с того, что чужой страх разрешал трогать мёртвых.

Глава 2. Старый жрец

Жреца ввели без наручников напоказ. Наручники были — под рукавами плаща, чтобы на дворе не устраивать зрелища раньше времени.

Ему было за шестьдесят. Борода седая, руки в старых шрамах от ритуальных ножей, глаза сухие. Он не кричал. Смотрел на чашу на столе и на пальцы Мануса так, будто уже прикидывал, каким богам ещё можно молиться в уме, пока рот занят чужими вопросами. За жизнь он видел голод, мор и чужие сборы. Инквизицию с чашей видел впервые — и уже понимал, что спорить с ней языком храма будет мало.

— Имя, — сказал Манус.

— Сергей, сын Авдея. Служил у камня старого культа двадцать семь лет.

— Кого укрывал после наших сборов.

— Никого.

Манус положил ладонь ему на запястье. Кровь под печатью отозвалась сразу. Жжение пошло не по коже снаружи — изнутри, по жилам, тонко и точно. Сергей дёрнулся, но рот сжал до белизны. В глазах мелькнуло не только боль — обида человека, который всю жизнь считал, что боль можно посвятить богу и тем обесмыслить её для палача.

— Ещё раз. Кого укрывал.

— Старух. Двоих. Они не воины. Клади хлеб по старому обряду. Я только молитву читал. Жжение ослабло на долю мгновения — правда. Потом Манус сдвинул вопрос.

— Где прячете книги культа.

Молчание. Жжение поднялось снова, сильнее. Сергей задышал часто, пот выступил на лбу и скатился в бороду. Он вдруг вспомнил, как в прошлом году хоронил внука и читал над ямой то, что теперь нельзя было даже шептать. Внука уже не вернуть. Книги ещё можно было попытаться спасти — и тело предало эту попытку раньше рта.

— Под полом молельни. Третья плита от порога. Не колдовство. Поминовения.

— Имена тех, кто носит еду в лес ночью.

Сергей замотал головой. Кровь соврала раньше рта: жжение стало острым, почти до крика. Он назвал троих. За дверью писец уже писал, не поднимая глаз. Один из названных был пекарем, у которого Сергей брал хлеб на обряд. Пекарь ещё не знал, что его имя уже легло на доску.

Так шла исповедь под печатями. Не дыба ради стога. Боль была инструментом отбора правды. Ложь жгла. Правда давала короткую передышку. Человек сам начинал искать слова, которые уменьшают огонь в жилах.

К полудню у Мануса были плита, имена и список дворов, куда ещё ходили со старой молитвой. Сергия не убили. Его оставили в цепи до вечера: таких сначала выжимали до пользы, потом решали — рот, работа или чаша. В щель ставни было видно, как за забором Нёла быстро уводила сына от ворот, будто боялась, что жрец взглядом передаст чужую беду.

— Завтра продолжишь, — сказал Манус, отпуская кровь. — Сегодня запомни: твои боги здесь не принимают жалоб. Здесь принимают службу.

Сергий молчал. В глазах стоял не только страх. Стояло понимание, что старый культ в этом доме кончается не спором на площади, а физиологией — и что завтра он, возможно, сам будет переписывать имена тех, кого только что сдал.

После допроса Сергей сидел в цепи и слушал, как за стеной писец скребёт пером. Каждый шорох казался новым именем — чужим, которое он только что отдал. Он пытался молиться по-старому и сбивался: слова путались с жжением в жилах. Впервые за двадцать семь лет службы богам он понял, что память тела сильнее веры, когда боль выбирает за тебя.

За забором тихого дома двое баб спорили, не поднимая глаз.

— Сергей всё сдал. И старух, и плиту, и пекаря.

— А что ему делать? Жжение в жилах, говорили, хуже родов. Я бы тоже сдала.

— Ты бы не сдала своих. Он сдал чужих, чтобы свои кости не трескали. Вот и вся святость.

Пекарь, ещё не зная, что его имя уже на доске, нёс к забору меру крови и бормотал жене: если придут — скажи, я только хлеб, я никого не прятал. Жена смотрела на его руки в муке и думала: мука не щит. Ночью к молельне, откуда Сергей указал третью плиту, уже ломились не только братья ордена. Местные подростки, чуя безначалие, выдрали из стен медные гвозди и раскололи икону сапогом «на память». Один хвастался осколком. Другой блевал в канаву: на обратной стороне доски было написано имя его бабки.

Глава 3. Новое имя

Ночью Сергия вывели во двор к чаше.

Не на казнь. На формулу. Манус стоял у края, Селивёрст держал книгу, младшие замыкали круг так, чтобы поселение за забором слышало ритм, но не видело лишнего. Евсевий читал строки ровно, без храмового пения и без дрожи в голосе. За забором люди всё равно не спали: кто-то стоял у щели, кто-то сидел на полу, прижав детей, и слушал чужие слова как приговор всей старой жизни.

— Кто ты был.

— Сергей, сын Авдея.

— Кто ты теперь.

Горло у жреца сработало не сразу. Кровь в чаше пахла металлом. Печать на запястье ещё помнила дневное жжение. Он думал о внуке в земле, о старухах, которых сдал, о пекаре, которого назвал, — и произнёс то, что уменьшало огонь.

— Служащий Отцу. Имя прежнее оставляю, пока не прикажут иначе.

— Служба в чём.

— В учёте. В сдаче. В отказе от ям. В крови, если потребуют. В рте, который не несёт чужую молитву против камня.

Формула села некрасиво, с паузами, но села. Манус принял. Для ордена важно было не благолепие. Важно было, чтобы старый жрец произнёс чужое правило вслух и чтобы двор за забором услышал это через щели.

После формулы Сергия поставили на дневную смену у писцов: переписывать имена из его же списков. Ломать таких полностью сразу было расточительно. Сломанный рот, который сам указывает на свои прежние тропы, экономил ордену недели обысков. Пекарь, чьё имя он сдал, к утру уже сидел в сенях тихого дома и не понимал, почему именно его выдернули из тёплого теста. Жена пекаря бегала у колодца и хватала за рукава чужих баб: скажите, за что, он же только хлеб. Ей не отвечали. Боялись ответить не тем.

Утром у колодца уже говорили, что жрец «перекинулся». Кто-то плевал через плечо. Кто-то молча нёс к забору назначенную меру крови. Нёла шепнула соседке, что теперь и молиться нельзя, и не молиться нельзя — всё равно придут. Тихий дом снова сделал тише округу — на один старый голос, который вчера ещё принадлежал богам, а сегодня уже книге.

Когда формула легла в воздух, за забором кто-то тихо всхлипнул — не от умиления, от того, что мир сдвинулся на зуб. Жена пекаря прижала ладони к рту, чтобы не выкрикнуть имя мужа. Ей казалось: если выкрикнет, его услышат ещё раз и заберут окончательно. Ночь тянулась долго. Формула повторялась в ушах даже тогда, когда двор уже спал.

У колодца после формулы голоса стали злее.

— Слышала? Жрец теперь «служащий». Пером чужие имена пишет.

— Пусть пишет. Лишь бы не моё.

— Твоё уже вчера было, когда ты хлеб на обряд носила. Не прикидывайся слепой.

Жена пекаря схватила собеседницу за рукав:

— Не надо вслух. У него дети. Пусть хоть печь оставим.

Сергий на смене у писцов дрожал, когда дошёл до строки с именем пекаря. Перо не слушалось. Старший брат стоял сзади и ждал. Сергей написал. За окном в ту же минуту пекаря уже вели через двор. Мальчишка-ученик кинулся следом и получил тычок в грудь. Тесто на столе остыло, покрылось коркой, как чужая жизнь.

Ночью кто-то из местных, решив, что «раз жрец сдался, бога нет», вынес из молельни оставшиеся поминовения и сжёг их на площади «для тепла». Пепел падал на головы тех, кто

ещё вчера клал хлеб на эти листы. Безначалие ело святое быстрее, чем орден успевал его переписать.

Глава 4. Память хищника

Ночью, когда смены сменились и двор затих, Манус остался один у стены допросной и позволил памяти подняться коротко — ровно настолько, чтобы не мешала работе.

До обращения он уже был высшим хищником в живом смысле этого слова. Не по титулу. По войне. Тактика, стратегия, доктрина — это было не выученное позже для вида, а его природа. Война была талантом и проклятием сразу: он видел поле глубже большинства и не умел жить вне напряжения, которое это зрение требовало. Крейван был силен и умён. Манус в военном деле был сведущее. Это знали те, кто ходил с ним в настоящие кампании. Это знал Маркус. После перерождения разница не исчезла — она стала тяжелее.

Его не выбирали за жалобный взгляд и не за удобную преданность. Его взяли потому, что из живого уже получался инструмент войны, а из обращённого этот инструмент можно было заточить дальше. Люциан не произносил вслух тёплых слов. Он показывал отношение делом: сила шла в Мануса чаще и гуще, чем в многих других; печати открывались плотнее; поручения были тяжелее. Когда Виктора нужно было поставить на место, того прислали к Манусу учиться уму — с такой жёсткостью, о которой орден потом говорил только шёпотом. Манус помнил запах той клетки и то, как быстро чужая спесь кончается под правильным нажимом. Помнил без удовольствия и без жалости.

За забором в ту же ночь Нёла не спала. Сын всхлипывал во сне и бормотал про ворота. Муж её, молчаливый возчик, лежал лицом к стене и делал вид, что не слышит. Он уже отдал меру крови дважды и каждый раз возвращался с двора тихого дома бледнее, чем уходил. В темноте он думал не о богах и не о Отце — о том, хватит ли зерна до весны, если разнорядки вырастут ещё раз, и о том, не придут ли завтра за ним из-за вчерашнего спора у амбара.

Манус оборвал воспоминание так же, как обрывал допрос: на нужной точке. За дверью ждали новые имена. Прошлого годилось как фундамент. Настоящее требовало руки. Он вышел на двор проверить ночную смену и краем глаза отметил огонёк в окне дальнего двора — кто-то тоже не спал. Страх поселения работал без приказа. Это было удобно.

Манус оборвал память, а она всё равно оставила послевкус — как запах дыма после боя. Он не жалел живого себя. Он жалел только ясность, с которой тогда ещё можно было назвать врага по имени и стороне. Теперь враг был системой, а система включала и тех, кто за забором дрожал над детьми. Ясность стала роскошью.

Двое братьев ордена у стены, думая, что Манус далеко, шептались не о войне — о Викторе.

— Говорят, того пса Отец к нему в клетку кинул. Трижды смерти просил.

— Не повторяй. Стены тоже пишут.

За забором возчик Нёлы сказал жене в темноте:

— Я меру отдал. Дважды. Если придут в третий — беги с парнем к тётке за реку. Не жди меня.

— Куда бежать? Везде чаша. Везде уши.

Они замолчали. В щель ставни было видно, как по улице тащили сани с награбленным: кто-то уже вскрывал дворы тех, кого увели на допрос, «пока хозяев нет». Сундук, иконы, даже детскую люльку. Соседка кричала, что это её сестра, не трогайте. Ей ответили матом и ударом в скулу. Страх ордена открыл другим аппетит: если закон чужой, своего тоже нет.

Глава 5. Выбор Отца

Выбор Отца Манус не романтизировал даже про себя.

Его заметили не на молитве. Его заметили на поле, где живые ещё считали себя центром мира. Люциан брал не тех, кто красиво падал на колени. Брали тех, кто уже умел решать задачу ценой чужих и своих тел без лишней дрожи. Манус умел. Умел считать ход на три шага. Умел держать людей в строю, когда строй должен был ломаться. Умел быть жестоким без театра.

После обращения это не стало историей спасения. Это стало продолжением службы в другой природе. Отец давал силу. Манус возвращал результат. Разговоры о любви и избранничестве оставались для тех, кому нужны сказки. В ордене хватало глаз, чтобы видеть простое: кому открывают печати гуще, кого ставят на узлы, кого посылают строить то, чего ещё не было.

Селивёрст однажды спросил осторожно, не в приказном тоне:

— Почему он выбрал тебя на камень, а не кого из старых кровников.

— Потому что камень — не алтарь для песен, — сказал Манус. — Камень — узел войны. Войну я знаю лучше песен.

Селивёрст больше не спрашивал. В тихом доме лишние вопросы о воле Отца заканчивались либо работой, либо чашей.

А за забором пекарь, которого сдал Сергей, уже вторые сутки сидел в сенях и слушал, как жена за воротами плачет и зовёт его по имени. Ему не били лицо. Ему задавали вопросы о том, кому он носил хлеб «на обряд». Он путался, боялся сдать ещё кого-то и боялся промолчать. В голове крутилось одно: тесто остынет, печь прогорит, дети останутся без корок — и всё равно это было меньше, чем жжение, о котором он уже слышал от тех, кто вернулся.

Пекарь в сенях слушал плач жены и думал о тесте, которое скиснет без рук. Это была мелкая мысль — и оттого ещё обиднее: на пороге чужой силы человек цепляется не за вечность, а за тёплый хлеб и привычный жар печи. Слезы шли сами. Он не вытирал их: в сенях не было зрителей, которым нужно казаться крепким.

— За что пекаря-то? — спросил у плетня подросток, ещё не умевший шептать.

— За хлеб на чужой обряд. И за то, что имя его жрец вспомнил, когда жилы запекли.

— А если я ничего не носил?

— Тогда молчи. Молчание нынче дороже хлеба.

Пекарь в сенях слышал этот разговор и закрыл лицо руками. Он не был воином и не был святым. Он был человеком с печью. Теперь печь без него, дети без корок, жена без мужа на виду у всей улицы. Когда его вывели к допросу, из соседнего двора уже выносили его запас муки: «всё равно не вернётся». Мародёры не ждали приговора. Они жили в щели между чашей и законом, которого больше не было.

Глава 6. Первый дар

Первый дар Манус помнил телом точнее, чем словами.

Это было не украшение и не награда на виду. Вливание пришло тяжёлым пластом: кровь стала слышать дальше, печати отозвались одна за другой, воля получила опору, которой у живого командира не бывает. Боль рядом с даром тоже была — короткая, ясная, чтобы тело запомнило цену. После этого допрос через кровь перестал быть редким фокусом. Он стал рабочим инструментом.

С тех пор Отец повторял усиление не по расписанию праздников, а по нужде задач. Каждый раз Манус принимал без просьб вслух. Просьбы в ордене выглядели слабостью. Результат выглядел отчётом: имена, сдачи, узлы, порядок.

В ту ночь после формулы Сергия дар отозвался сам — лёгким фоном, будто напоминая, что жрец был только началом. Впереди ждал камень. Для камня одной печати мало. Нужна была система.

Манус записал в свою короткую книгу: дар держать; силу не показывать без нужды; орден учить работе, не восхищению. Потом закрыл книгу и вышел на двор.

У плетня младший брат шептался с писцом о том, что паства «уже почти сдалась». Манус прошёл мимо и коротко велел не путать тишину со сдачей. Тишина бывает от усталости. Усталость завтра может стать топором у кольев. За забором Нёла наконец уснула сидя, уронив голову на стол, и ей снилось, что сына ведут к чаше, а она не может крикнуть — во рту тесто, как у пекаря.

Младший брат у плетня хотел спросить, всегда ли так будет — кровь, ночь, чужой страх. Слова застряли. Он вспомнил мать в родной волости и вдруг испугался, что скоро не сможет вспомнить её лицо без чаши рядом. Страх оказался тихим и липким. Он проглотил его вместе с ночным воздухом.

Младший рекрут после ночной смены сидел на камне и шептал старшему:

— А если мать моя туда попадёт? В меру. В книгу.

— Тогда ты будешь пить и писать. Или сам ляжешь. Третьего не дают.

Рекрут замолчал. В горле стоял комок не от крови в чаше — от мысли, что любовь к матери теперь конкурирует со страхом перед печатью.

За двором двое пьяных, чуя, что ночь принадлежит сильным, выломали дверь вдовиного амбара. Старуха выбежала с кочергой. Ей выбили кочергу и сказали: ты одна, тебя никто не запишет, сиди. Они унесли мешок овса и медный котелок. Утром вдова стояла у тихого дома и не знала, на кого жаловаться: на мародёров — или на тех, кто сделал улицу незаконной одним своим присутствием.

Глава 7. Приказ с севера

Приказ пришёл не через гонца с печатью области. Пришёл по крови.

Люциан говорил коротко. Строить первый зиккурат. Выбрать место. Поднять камень так, чтобы кровь и вера шли в приём, а тела — на север, не в яму и не в костёр на потеху толпе. Манусу — полное распоряжение на месте в рамках задачи. Силу добавил сразу, под приказ, чтобы разговоры «не хватит» умерли до рождения.

Манус собрал старших утром во дворе, пока паства ещё только шла к колодцу.

— Будет камень. Не символический. Рабочий. Ищем грунт, дорогу, воду не в подтопе. Паству готовить к новому правилу тел. Кто будет хоронить по-старому после объявления — пойдёт в учёт.

— А если местные поднимутся? — спросил один из обращённых.

— Поднимутся — снимем. Камень важнее их привычки к ямам.

У колодца в тот же час бабы уже чуяли перемену по тому, как братья смотрели на холмы, а не только на дворы. Кто-то сказал: теперь и землю нашу заберут. Кто-то ответил: землю и так забрали, когда первую меру крови назначили. Мальчишка Нёлы спросил, будут ли строить высокую башню. Нёла дёрнула его за ухо: не смотри и не спрашивай.

К полудню разъезды ходили по округе. Манус не искал красивый вид. Искал узел, который можно защитить и к которому ляжет дорога повозок. К вечеру на столе лежали три точки. Одну забраковал из-за сырости. Вторую — из-за леса без обзора. Третья осталась — всхолмье у старого столпа, где деды когда-то клали хлеб. Деды об этом уже не узнают. Живые узнают на рассвете, когда в землю войдут первые колья.

Когда разъезды ушли метить холм, старик Третьяк долго смотрел им вслед. В груди у него жило не бунтарство — усталость человека, который уже отдавал землю и сыновей другим войнам. Теперь отбирали даже место, где деды клали хлеб. Он погладил внучку по голове и сказал только: не бегай к кольям. Голос дрогнул на последнем слове.

У колодца, когда разъезды ушли метить холм, бабы уже не прятали слов.

— Выгон заберут. Скотина падёт.

— Пусть падёт. Лишь бы детей в повозку не клали.

— Глупая. Детей кладут туда, где нет молока. Это одно и то же.

Третьяк сказал внучке:

— Если спросят, где деды клали хлеб, — молчи. Хлеб теперь чужой. И холм чужой. И ты молчи, чтоб живая осталась.

Ночью на выбранном всхолмье местные не только выдёргивали колья. Кто-то разрыл старые могилы у столпа, ища «железо предков». Черепа выкатили под луну. Один парень надел челюсть на палец и хохотал, пока его не стошнило. Наутро орден нашёл поруганные кости и не стал разбирать, кто из живых это сделал из страха, а кто из жадности. И тех и других ждала чаша. Безначалие уже смешало мотивы в одну грязь.

Глава 8. Кровь в жилах

Допрос через кровь Манус провёл лично на человеке, которого привели за агитацию против сдачи тел.

Тот был крепкий, с голосом, привыкшим собирать соседей у амбара. Звали его Фомой. На цепи он ещё пытался говорить собраниями.

— Вы сделаете из нас скот.

— Вы уже скот войны, — сказал Манус спокойно. — Разница в том, чей учёт вас считает.

Ладонь на запястье. Печать. Кровь остановил на несколько ударов — ровно столько, чтобы глаза расширились от настоящей паники, не от театра. Потом пустил снова. Потом заставил поток идти быстрее, почти до жжения изнутри. Фома перестал собирать слова для площадки. Начал дышать и отвечать.

Где сход. Кто носил оружие в сарай. Кто обещал прогнать чашу. Имена легли на доску. Когда Манус отпустил руку, Фома плакал не от раскаяния — от того, что тело впервые поняло: спорить с орденом можно ртом, но рот больше не хозяин крови.

Его не убили. Поставили к будущей стройке. Живой пример на работах действовал на дворы сильнее казни. Жена Фомы, узнав, что он жив, сначала обрадовалась, потом села у порога и замолчала надолго: живой муж на стройке камня казался ей уже не совсем мужем, а чужой собственностью. Соседи перестали заходить. Боялись, что вместе с сочувствием прилипнет и учёт.

Фома на стройке чувствовал, как чужая работа перемалывает прежний голос. Когда-то он собирал соседей у амбара. Теперь соседи обходили его взгляд. Жена приносила похлёбку и не спрашивала, каково ему. Оба знали: вопрос откроет дыру, которую нечем закрыть. Молчание стало единственной нежностью, которую они ещё могли себе позволить.

Жена Фомы принесла похлёбку к стройке и сквозь зубы сказала:

— Ешь. Потом молчи. Соседи уже не здороваются.

— Пусть не здороваются. Я живой.

— Живой — не значит свой. Ты теперь пример. Примеры не обнимают.

Фома ел и слушал, как двое рабочих за камнем спорили, стоит ли ночью снять с мёртвого неспящего перстень. Один говорил: железо своё, мёртвому не надо. Второй: тронешь — сам ляжешь в ряд. К вечеру перстень всё-таки сняли. К утру одного из спорщиков не было. Второй таскал раствор и дрожал так, что ведро стучало о камень.

В опустевшем дворе Фомы соседи уже растащили дрова и лавку. Жена застала бабу с чужого конца за её одеялом.

— Это не воровство, милая, — сказала бабка спокойно. — Это пока пустует. Война так учит.

Глава 9. Место силы

Место выбрали к северу от поселения: всхолмье с сухим грунтом, подход для повозок, старый казённый край, где когда-то стоял сигнальный столп.

Местные пришли спорить ещё до первого кола. Старшие дворов говорили о выгоне, о святой траве, о том, что здесь деды клали хлеб. Старик Третьяк кричал хрипло, что без выгона скотина падёт, а дети останутся без молока. Манус выслушал один раз. Потом повторил правило: место утверждено, работы начнутся на рассвете, сопротивление перейдёт в учёт.

Ночью кто-то попытался выдернуть колья разметки. К утру дозора и собак хватило: двоих поймали, одного ранили стрелой в бедро. Раненого допросили кровью. Вышли заказчики из дальнего двора — те самые, что ещё вчера говорили о дедах. Дальний двор к полудню уже стоял у чаши. Колья вбили снова, глубже.

Третьяк после этого сидел у плетня и смотрел на всхолмье молча. Молоко он уже не считал. Считал, кого из двора первыми поставят на смену, и не заметил, как внучка принесла ему хлеб и ушла, не дождавшись слова. Хлеб остыл на коленях. Страх ел тише голода.

Ночь после кольев пахла сырой землёй и страхом. Женщина из дальнего двора, чей муж попал под кровь, сидела у стены и перебирала чётки без веры — просто чтобы пальцы не дрожали впустую. Она шептала имена детей по кругу, будто список мог удержать их дома. За окном лаяла чужая собака. Лай оборвался. Она не пошла посмотреть.

Третьяк у плетня сказал внучке хрипло:

— Не бегай к кольям.

— Там люди работают. Можно посмотреть.

— Там люди перестают быть людьми. Смотреть — уже участвовать.

Женщина из дальнего двора, чей муж попал под кровь за колья, сидела у стены и говорила в пустоту:

— Он же только кол выдернул. Кол. Дерево. Не человека.

Никто не отвечал. Отвечать значило признать, что дерево нынче дороже человека, если дерево стоит на чужом холме.

Ночью мародёры, пользуясь тем, что дальние дворы без мужиков, вскрыли клеть и вынесли зерно. На пороге оставили разорванную рубаху хозяина — как метку: мы тут были. Собаку убили, чтобы не лаяла. Утром дети нашли собаку и долго не понимали, почему она не встаёт. Война учила их раньше азбуки.

Глава 10. Публичное очищение

Первое публичное очищение провели на площади у будущего подножия холма.

Не ради красивой жестокости. Ради правила. Трёх вывели за укрытие тел в ямах после запрета. Одного звали Мирон — он прятал брата, умершего от горячки, потому что мать молила «не отдавать чужим». Евсевий читал коротко. Манус не затягивал. Кровь свели в чаши у кольев. Тела не сожгли и не закопали на глазах толпы — уложили в чёрные повозки. Это ударило по людям сильнее меча: смерть переставала быть своей землёй. Она становилась чужим грузом, уходящим на север.

Мать Мирона закричала, когда повозка тронулась. Её не били. Её записали. Через день она уже стояла в очереди с мерой крови для двора — с пустыми глазами, но в строке учёта. Мужчина рядом шептал, что лучше бы сожгли по-человечески. Ему ответили молчанием. По-человечески больше не было мерой ордена.

Дети смотрели из-за юбок и запоминали скрип колёс. Ночью мальчишка Нёлы спросонья заплакал и сказал, что повозка едет за ним. Нёла трясла его до утра и сама не сомкнула глаз. Урок для живых начался раньше, чем орден назвал его уроком.

Когда повозка ушла, мать Мирона шла домой медленно, будто пол под ногами стал чужим. Соседи расступались. Никто не взял её под руку: жалость теперь стоила имени в книге. Дома она села на лавку и смотрела на пустой угол, где сушили братнин кафтан. Кафтан ещё пах дымом. Она уткнулась в него лицом и заглушила крик тканью.

Когда повозка с телами ушла, у кольев остались шёпоты.

— Брата Мирона в борт. Мать кричала.

— Кричи — не кричи. Мёртвых больше не кладут в землю. Земля нынче не принимает своих.

— А куда же душа?

— Не спрашивай. Вопросы тоже в книгу кладут.

Мать Мирона дома уткнулась в кафтан и услышала за стеной, как соседи уже делили его сапоги: «всё равно не вернётся, а зима близко». Она вышла и встала в дверях. Соседи замолчали, держа сапоги. Она сказала: берите. Голос был ровный, как у мёртвой. Сапоги унесли. Поругание было не в том, что сапоги взяли, — в том, что она сама разрешила, лишь бы не слышать торга над сыном.

Глава 11. Урок для живых

Урок для живых орден закрепил не одной казнью, а порядком дней.

Утро — смены на холм. День — допросы по спискам. Вечер — формула для тех, кого уже выжали. Ночь — охрана разметки и повозок. Люди учились быстро, потому что цена ошибки была конкретной: имя в книге, чаша, борт.

Селивёрст ловил младших на жалости к почти своим. Одного снял со смены у ворот и поставил на грязную работу у чаши на три дня. Жалость кончилась. Манус это видел и не отменял. Ордену была нужна дисциплина, а не сочувствие площади.

К концу недели поселение уже жило в новом ритме. Кто-то бежал ночью — и его принесли назад к утру, мокрого и без сапог. Кто-то сам привёл соседа с лопатой, которого видел у запретной ямы. Донос стал частью выживания. Жена пекаря, чтобы вымолить мужа, сама укачала на двор, где ещё клали хлеб по-старому. Мужа после этого вернули на работу под надзором. Соседей забрали. Она стояла у ворот и не радовалась: спасла своего и поняла, что теперь будет жить с этим лицом в каждом куске теста.

Манус не строил иллюзий. Так начинается любой жёсткий учёт. Важно было только, чтобы донос шёл в книгу, а не в самосуд за плетнем.

Жена пекаря после доноса пекла и плакала в рукав. Тесто получалось солёным. Ученик не спрашивал почему. На улице дети уже играли в «чашу»: один водил, другие сдавали «меру» камешками. Взрослые одёргивали их зло. Дети не понимали злости — они понимали только новые правила игры, в которой взрослые проиграли первыми.

Дети играли в «чашу». Один водил, другие сдавали камешки.

— Ты соврал — жги жилы!

— Я не врал!

— Врал. Я видел.

Взрослая женщина выхватила камешки и швырнула в пыль.

— Не смейте. Это не игра.

Дети смотрели на неё как на дуру. Для них это уже была единственная понятная игра в посёлке.

Жена пекаря после доноса встретила во дворе ту, кого сдала. Та плюнула ей под ноги.

— Хлеб твой теперь с кровью. Давись.

Пекарь, вернувшийся под надзором, стоял между ними и не знал, кого жалеть. Ночью кто-то вымазал дверь пекарни экскрементами и написал углем: СДАЛА. Поругание дома стало дешевле хлеба.

Глава 12. Закладка камня

Закладку камня начали без праздничной речи и без венков.

Первые блоки легли на утрамбованный грунт. Рабочих брали из пленных, должников и разнарядки дворов. Отказ означал меру. После двух отказов подряд отказов стало меньше: пример работал быстрее уговоров. Фома, тот самый агитатор, таскал камень молча и не поднимал глаз. Спина у него стала чужой — чужой работе, чужому холму, чужому будущему.

Евсей коротко сказал пастве, что камень будет пить службу так же, как чаша пьёт кровь. Кто хочет низкого сбора и целых детей позже — работает сейчас. Кто хочет старых ям — знает дорогу к колям. Кто-то в толпе плюнул. Кто-то уже брал носилки.

Нёла смотрела на фундамент и думала о сыне: если правда про детей у камня, она готова носить глину сама. Если ложь — всё равно придётся носить. Выбора не было, оставалась только скорость, с которой ломается привычная жизнь. К вечеру первого дня линия фундамента читалась от края до края. Холм перестал быть идеей. Он стал стройкой с грязью на сапогах и с дозором у лесной кромки.

На закладке женщина с разбитыми ладонями остановилась отдохнуть и посмотрела на фундамент. Ей казалось, камень растёт быстрее, чем человек успевает привыкнуть к боли. Рядом мужчина тихо матерился не на надсмотрщика — на себя, за то, что вчера ещё верил, будто можно отсидеться в погребе. Погреб нашли. Вера осталась в пыли.

На закладке двое рабочих говорили, не разжимая губ.

— Блок за блок. Как будто себе могилу кладём.

— Себе — нет. Им. А мы только руки.

— Руки потом тоже в крипту. Слышал про неснящих? Придут и будут класть вместо нас. Тогда нас куда?

— В желоб. Или в борт. Не важность.

Женщина с разбитыми ладонями села в пыль и сказала соседке: если умру здесь, скажи дочери, что я не от камня, я от голода. Соседка кивнула и не пообещала: обещания нынче стоили как донос.

Вечером подростки стащили с разметки железные скобы «на продажу». Их поймали не братья — голодные мужики, которым скобы были нужны на свои сараи. Дрались уже между собой, пока орден не подошёл. Безначалие размножалось: воровали не только у мёртвых, но и у тех, кто ещё таскал камень.

Глава 13. Камень и плоть

На третий день стройки с севера пришли неспящие — не меньше трёх сотен.

Их прислал Люциан ускорить работу. Они трудились без отдыха, без сна, без торгов у колодца и без нужды в каше. Живые смены рядом сначала пятались, потом привыкали: мёртвые руки клали камень ровнее многих живых и не спорили о смене. Манус расставил неспящих на тяжёлые участки и на ночь. Живых оставил там, где нужен глаз, голос и разбор спора.

Темп вырос сразу. То, что живыми неделями тянули бы с бранью и срывами, неспящие закрывали сутками. Паства за забором смотрела молча. Дети прятались за юбки. Старик Третьяк сбился со счёта, сколько таких пришло, и впервые за много дней перекрестился по-старому — потом сам испугался своего жеста и спрятал руку в карман.

К исходу пятого дня нижние ряды уже держали форму будущего яруса. Фома, таская раствор рядом с неспящим, вдруг понял, что больше не отличает, кого из них он боится сильнее — мёртвого без устали или живого надсмотрщика с доской. Страх выровнял поле.

Ребёнок у плетня смотрел на неспящих и не моргал. Мать закрыла ему глаза ладонью, но он отодвинул руку: хотел видеть. Потом ночью кричал во сне, что каменные люди идут в дом. Отец сидел на краю лежанки и не знал, что сказать. Слова «не бойся» давно стали ложью. Он сказал другое: я рядом. Этого тоже могло не хватить.

Ребёнок у плетня спросил мать вслух, слишком громко:

— Они спят?

— Нет.

— Почему тогда как люди?

— Потому что люди тоже иногда не спят. Только эти уже не могут иначе.

Мать зажмурилась. Слова вышли страшнее, чем хотела.

Фома, таская раствор рядом с неспящим, шепнул соседу: у него на пальце кольцо, моей бабки работа, я узнаю насечку. Сосед ответил: не тронь. Мёртвому кольцо — твой приговор. Фома не тронул. Ночью кто-то другой тронул. К утру кольца не было, а неспящий стоял как стоял. Живые уже грабили даже тех, кто не умел умереть. Это было новое дно.

Глава 14. Столбы с чашами

Зиккурат закончили быстрее, чем местные успели привыкнуть к его тени на дворах.

На верхней площадке поставили столбы с чашами. Ритуал открытия провели ночью: кровь, формула, первые новые обращённые на алтаре по мере Отца. В крипты под ярусами пошёл приказ: мёртвых готовить к продолжению службы — броня, оружие, не яма. Три сотни неспящих Люциан оставил в охрану камня. Им привезли оружие и доспехи из воронёной стали. Они заняли гробницы неспящих без сна и без лишних шагов наружу.

Манус стоял у края площадки и слушал, как камень впервые принял устойчивый поток. Это было не торжество. Это было начало рабочей точки на карте Отца. Внизу паства стояла тише, чем на любом прежнем сходе. Кто-то плакал. Кто-то уже шептал формулу без приказа — из расчёта не оказаться в первой повозке.

Мать Мирона, та, что кричала за брата в повозке, теперь смотрела на чаши и не кричала. У неё кончился голос. Остался только взгляд, которым она провожала каждый борт, будто всё ещё надеялась узнать в связке тел своё.

Под чашами на открытии кто-то упал в обморок — не от вида крови, от духоты страха. Его оттащили к краю. Женщина рядом шептала формулу дрожащим шёпотом и вдруг засмеялась тихо, почти безумно: голос сам выговаривал чужое, а сердце всё ещё звало старых богов. Смех оборвался, когда на неё посмотрели. Она снова стала только шепотом.

Под чашами открытия женщина шептала соседке:

— Смотри, кого на алтарь ведут. Это же Гришка, кузнецов.

— Был Гришка. Теперь «новый». Не называй.

— Он мне в прошлом году серп правил.

— Серп теперь сам. Руки чужие.

Гришка, уже обращённый, смотрел в толпу и не моргал. Кто-то из баб перекрестился по-старому и тут же спрятал руку. После ритуала подростки, оставшись в тени, залезли в старую молельню и помочились на выбитые плиты «для храбрости». Один хвастался. Второй плакал. Третий сказал: если бога нет, то и стыда нет. Стыд, однако, остался — в виде рвоты у стены.

Глава 15. Желоба

Желоба довели в следующие дни: сток крови, приём, отвод, чистка.

Работа была грязной и точной. Селивёрст лично гонял артель по углам, пока сток не перестал теряться в глине. После открытия у подножия начали подниматься мёртвые и без личного присутствия некроманта — воля Отца доставала их у камня. Первых таких поставили в охрану периметра. Живые братья сначала шарахались, потом приняли как факт.

Манус получил приказ собрать артель и размножить систему. Где не противятся — строить и проповедовать. Где противятся — уничтожить сопротивление, строить и проповедовать. Сначала спрашивать Маркуса, если действие в его полосе нерационально. Если сил ордена мало — обращаться в крепость за войсками.

У колодца Нёла сказала соседке почти беззвучно: теперь и мёртвые сами встают, куда уж нам. Соседка не ответила. Она думала о муже на смене у желоба — о том, как он вечером моет руки до крови и всё равно чует запах, и о том, что дети уже не спрашивают, когда кончится «это». Дети перестали ждать конца. Это было страшнее крика.

У желобов живой рабочий поскользнулся и сел в грязь. Неспящий рядом продолжал работу, не глядя. Человеку стало обидно до слёз — не на мёртвого, на то, что усталость теперь стыдна. Он встал, вытер руки о штаны и снова взялся за камень. Вечером дома молчал. Жена не спрашивала. Молчание семей за холмом стало общим языком.

У желобов живой рабочий сказал напарнику:

— Грязь эта — не грязь. Это люди.

— Не повторяй. Работай.

— Я людей месил в глине. Понимаешь?

— Понимаю. Замолчи.

Напарник отвернулся, потому что тоже понимал и не хотел, чтобы понимание стало криком.

Вечером у колодца Нёла сказала:

— Теперь и мёртвые сами встают.

Соседка ответила не сразу:

— Тогда живым надо вставать ещё раньше. Или лечь сразу, без очереди.

Ночью мародёры сняли с краёв стройки брошенные лопаты и куски воронёной стали, отколотые при примерке доспехов неснящим. Сторож-живой спал. Сторож-мёртвый не спал, но не считал железо «своим» так, как считает голодный. К утру не хватало трёх лопат. Орден искал воров. Воры уже продавали сталь за хлеб на дальнем хуторе, где ещё надеялись, что война — это где-то не у них.

Глава 16. Первые молитвы

Новые молитвы Евсевий собирал из старых обрядовых форм, вычищая чужие имена и вставляя службу Отцу.

Люди повторяли сбивчиво. Кто-то плакал. Кто-то уже произносил ровно — из расчёта. Манус не требовал любви. Требовал повторяемости. На площади после третьего повтора формулы уже меньше путали строки. Этого хватало для начала.

В те же дни он передал на север запрос к Маркусу через канал Отца: помощь по полосе, согласование, чтобы камни и сеть не мешали друг другу. Ответ Люциана пришёл с поручением Маркусу помогать Манусу — зиккураты станут основой мощи; энергии уже достаточно; сеть крови развивать дальше; награды будут щедрыми.

Манус выслушал и вернулся к смене у желобов. Первые молитвы звучали над камнем. Повозки с телами уходили. Неспящие стояли в криптах. Тихий дом на окраине уже не был центром — центром стал холм.

Нёла впервые произнесла формулу без ошибки и сама испугалась, как легко это вышло. Пекарь, вернувшийся под надзором, пек хлеб и плакал в тесто тихо, чтобы ученик не видел. Фома на кладке считал блоки и не считал дни — дни стали одинаковыми. Орден впервые стоял не только как кара, но как строители системы. А простые люди впервые поняли, что война за их жизни уже идёт, даже если поле ещё далеко: она идёт в голосе, в повозке, в смене и в том, как быстро ломается привычка называть смерть своей.

После молитвы Нёла шла домой и повторяла строки, чтобы не забыть. На середине сбилась и остановилась посреди улицы. Слёзы навернули сами — от злости на себя. Сын взял её за руку. Она сжала пальцы слишком сильно. Он не охнул. Оба уже учились терпеть боль молча, как будто это тоже входило в формулу.

После молитвы двое стариков шли молча, потом один не выдержал:

— Я слова чужие выговорил. Горло само.

— И я. Зато внука не тронули сегодня.

— Сегодня. Завтра формула длиннее будет.

Нёла сжала сыну руку слишком сильно. Он сказал: мам, больно. Она ослабила и впервые за неделю улыбнулась криво: боль ещё значит, что ты живой.

Ученик пекаря, оставшийся без хозяина на час, увидел, как трое парней выносят из пекарни противни «в долг войны». Он закричал. Ему зажали рот квашнёй. Когда пекарь вернулся, противней не было, а на полу — следы сапог и смех за стеной. Пекарь сел на корточки и гладил пустое место, где стоял хлеб, как глядят могилу.

Глава 17. Малая жатва

Малую жатву назначили на третью ночь после того, как желоба впервые дали устойчивый сток.

Утром Евсевий объявил дворам меру крови и имён. Кто нёс молча, проходил у кольев быстрее. Кто спорил о «старом праве на яму», оставался под взглядом братьев дольше и уходил уже с пометкой в книге. К вечеру у подножия зиккурата стояли чаши, писцы и очередь. Пахло металлом, мокрой глиной и страхом, который люди старались не называть вслух.

Удар пришёл ближе к середине меры.

С южной тропы вышли не строем — сборной толпой: остатки недовольных, двое бывших служек старого культа, несколько мужиков с топорами и короткими клинками. Они рассчитывали на панику у чаш и на то, что неспящие «не успеют из крипт». Неспящие успели. Первых троих сняли ещё на подходе к кольям. Факел упал в грязь и зашипел. Крик оборвался быстро: живые братья закрыли паству плотным полукругом, мёртвая охрана пошла клином в тропу.

Бой вышел коротким и грязным. Топор ещё мог сбить неопытного обращённого, если дать полный размах и попасть в сустав. Против воронёной стали и тел, которые не отступали от раны, размаха не хватило. Один нападавший прорвался почти к чаше и успел крикнуть, что «камню конец». Его взяли живым — Манус велел так. Остальных уложили. Тела не оставили гнить у тропы: годных в отбор, остальных сразу в чёрную повозку.

Живого допросили кровью ещё до рассвета. Имена заказчиков из дальнего двора легли на доску. К полудню дальний двор уже стоял у кольев. Паства после ночи сдавала меру тише. Малая жатва завершилась не только собранной кровью. Она закрепила простое: камень нельзя поджечь с края леса малой толпой и громким криком.

Манус доложил Отцу коротко. Ответ пришёл без лишних слов: держать, расширять, следующих бить до того, как они успеют собраться в число.

В обозе беженцев женщина прижимала к груди узел с чужими сапогами — единственное, что успела снять с убитого мужа, прежде чем двор заняли. Сапоги были велики сыну. Она всё равно тащила их: без сапог на тракте ноги кончаются раньше страха.

Пленный солдат в клетке у узла не смотрел на чашу. Он смотрел на грязь и считал, сколько дней не слышал живого смеха. Когда рядом заплакал ребёнок из беженского хвоста, солдат вздрогнул так, будто это был выстрел.

У площади люди говорили полушёпотом. Кто-то клял судьбу, кто-то — себя. Больше всего боялись не смерти, а того, что после неё не останется даже имени на своей земле.

После ночного удара у тропы бабы собирали камешки с крови и спорили.

— Это наши били или они?

— Какая разница. Кровь одна, в желоб пойдёт.

— Разница есть. Своих хотя бы хоронили. Этих — в борт.

Мужик с топором, которого взяли живым, орал из цепи: я за детей, я за ямы, я не вор. Ему не отвечали. Жена его стояла в толпе и не подходила: подойти значило вписать себя рядом.

К утру на брошенных телах нападавших уже не было сапог и поясов. Кто-то из паствы успел раньше повозки. Селивёрст велел обыскать дворы. Нашли сапоги в клетке у вдовы. Вдова плакала: дети босые, зима, я не убивала. Её всё равно поставили к кольям за мародёрство. Война не разбирала, голод это или жадность. Поругание мёртвых стало отдельной статьёй в книге, рядом с укрытием ям.

К утру после жатвы у тропы паства мела кровь песком и спорила вполголоса.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.